

И

1. 237. 608

В. Моложавенко

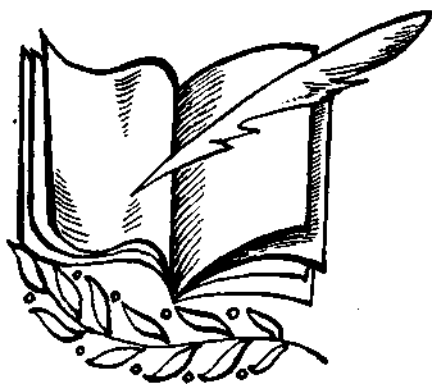
“БЫЛ И Я СРЕДИ ДОНЦОВ”



В. Моложавенко

**"БЫЛ И Я
СРЕДИ
ДОНЦОВ"**

Затиски краеведа

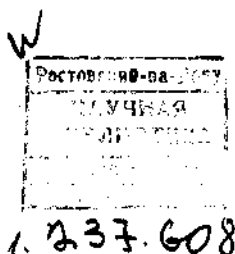


Ростов-на-Дону
Ростовское книжное издательство
1984

ББК 26.891
К75

ОБЯЗ. ЭКЗ.

Рецензент Е. А. Корнилов



НБО

Моложавенко В. С.

М 75 «Был и я среди донцов...»: Записки краеведа.—
Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1984. — 160 с.

В новой книге писателя-краеведа рассказывается о малоизвестных страницах творческих биографий А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького, А. С. Серафимовича и других русских литераторов, дороги которых пролегали через Придонье и оставили свой след в судьбах наших земляков.

Рассказ о прошлом нашего края органично связан с нынешним днем, с буднями современности.

М 1905000000—017 64—84.
М 156(03)—84

ББК 26.891
91

© Ростовское книжное
издательство, 1984.



АВТОГРАФ ПУШКИНА

Чем более смотрю на сего казака,
тем более поражаюсь сходством его с
великим князем...

Э. И. Тотлебен о Пугачеве

Рассказ об этой удивительной находке, на первый взгляд, может показаться непримечательным. Мало ли в наших архивах хранится редких автографов, рукописей, дневников и прочих официальных и неофициальных бумаг? И все-таки то, что историки случайно обнаружили в фондах Центрального государственного военно-исторического архива, было необычным.

Приводя в порядок архивные дела середины прошлого столетия, один из научных сотрудников увидел на пожелтевшем от времени документе едва заметную надпись карандашом: «Напечатано в Биб. для чт. 1834 г., т. VII». Размашистый почерк показался удивительно знакомым, им заинтересовались, пригласили специалистов, и оказалось, что это почерк Пушкина.

Так был найден неизвестный до последнего времени автограф великого поэта.

Что же это за документ?

Оказывается, Пушкин сделал надпись на «Описании известного злодею и самозванцу, какого он есть свойства и примет, učinенное по объявлению жены его, Софьи Дмитриевой».

Это допросный лист жены Емельяна Пугачева.

Сам по себе этот документ был известен давно: Пушкин опубликовал его в примечаниях к четвертой главе «Истории Пугачева». А еще раньше текст допросного листа был напечатан в журнале «Библиотека для чтения», издававшемся известным русским литератором О. И. Сенковским.

Но ни из журнала Сенковского, ни из более поздних трудов по истории восстания Пугачева (в том числе и трудов донских историков) нельзя было узнать, где же именно происходил допрос жены Пугачева. Пушкин, комментируя текст «Описания известному злодею и самозванцу...», говорил лишь о том, что показания Софьи Дмитриевой были представлены в этом виде в Военную коллегию. Теперь, когда обнаружен оригинал допросного листа, стало известно, что показания о своем муже Софья Пугачева давала в канцелярии коменданта крепости Дмитрия Ростовского в начале 1774 года, перед отправкой вместе с детьми в Казанскую тюрьму. Для краеведов это очень важная находка.

Пушкин оставил свой автограф, видимо, в тот период, когда, начав писать «Историю Пугачева», изучал документы в тайниках архива военного министерства в Петербурге. Вполне естественно, что показания Софьи Пугачевой, как наиболее достоверный источник сведений о жизни руководителя крестьянского восстания 1773—1775 годов, поэт положил в основу своего исследования, а затем и повести «Капитанская дочка».

Документ, на котором Пушкин оставил свой автограф, любопытен тем, что сообщает почти всю родословную Пугачева и важные вехи его биографии. Вот как, например, говорится о приметах вождя крестьянского восстания: «Тому мужу ее ныне от роду будет лет сорок, лицом сухощав, во рту верхнего спереди зуба нет, который он выбил саласками, еще в малолетстве в игре, а от того времени и до ныне не вырастает... На лице имеет желтые конопатины; сам собою смугловат, волосы на голове темно-русые по-казацки подстригал, росту среднего, борода была клишом, черная, небольшая... Женился тот муж ее на ней, и она шла, оба первобрачные, назад тому лет с 10, и с которым и прижили детей пятерых, из коих двое померли, а трое и теперь в живых. Первый сын Трофим десяти лет да дочери, вторая Аграфена по седьмому году, а третья Христина по четвертому году...»

И о родственниках: «Что же муж ее точно есть упоминаемый Емельян Пугачев, то сверх ее самоличного с детьми сознания и уличения, могут в справедливость доказать и родной его брат Зимовейской же станицы казак Дементий Иванов сын Пугачев... да родные же сестры, из коих первая Ульяна Иванова, коя ныне находится в замужестве той же станицы за казаком Федором

Григорьевым, по прозванию Брыкалиным, а вторая Федосья Иванова, которая также замужем за казаком из прусак Симоном Никитиным, а прозвания не знает, кой ныне жительство имеет в Азове, которые все мужа ее знают довольно».

В допросном листе записано также, что «писем он к ней как с службы из армии, так и из бегов своих никогда не присылывал; да и что в станицу их или к кому другому писал, об оном не знает; он же вовсе и грамоте не умеет». А «речь и разговоры муж ее имел по обыкновению казачьему, а иностранного языка никакого не знал».

Чем кончился допрос жены Пугачева? К тому времени Софья, которой «дневного пропитания с детьми иметь стало не от чего», продала «за 24 руб. за 50 коп.» свой дом казаку Есауловской¹ станицы Еремею Евсееву и тот перевез его из Зимовейской на новое место. Тем не менее донской атаман Сулин по высочайшему указу предписал коменданту Ростовской крепости Потапову «для возбуждения омерзения к Пугачеву злодеяния» дом сломать, вернуть из Есауловской станицы на старое место в Зимовейскую и сжечь, пепел развеять по ветру, а место это посыпать солью, окопать рвом и оставить «на вечные времена без поселения».

Так и было сделано. Больше того. Саму станицу Зимовейскую, родину Пугачева, переименовали в Потемкинскую и перенесли на противоположный берег Дона. Царизм хотел вытравить в народе всякую память о его славном сыне.

А Софья с тремя детьми после допроса была отправлена в Казанскую тюрьму, где томилась несколько месяцев. По иронии судьбы, Казань была освобождена повстанческими отрядами Пугачева, выдававшего, как известно, себя за императора Петра III.

Увидев среди выпущенных из тюрьмы узников свою семью, Пугачев, вспоминали очевидцы, заплакал, но не изменил самому себе и распорядился позаботиться о Софье: «Я ее знаю; муж ее оказал мне великую услугу».

По свидетельству других сподвижников Пугачева, Софья с детьми оставалась с казачьим атаманом до разгрома восстания.

Подавив восстание, самодержавие не только казнило предводителя, но и жестоко расправилось с его семьей, хотя в судебном приговоре и было сказано: «...ни в каких преступлениях не участвовали обе жены самозванцев... и малолетние его от первой жены сын и две дочери».

Первую жену Пугачева, Софью Дмитриеву из рода Недю-

¹ Станица Есауловская (позже Степькиразивская) находилась на территории, затопленной ныне Цимлянским морем.

жних, и трех детей пожизненно заточили в одну из самых мрачных тюрем — Кексгольмскую крепость. Туда же была брошена и вторая жена Пугачева — Устинья Кузнецова. Они были обречены на мучительное, голодное существование: на питание им выделялось денег даже меньше, чем уголовным преступникам.

Не менее трагической оказалась участь и других родственников Пугачева, жизнь которых окончилась в тюрьме. В Кексгольмской крепости сохранилась до сих пор так называемая Пугачевская башня. В 1826 году посаженные в эту башню декабристы застали все еще живших там дочерей народного героя.

А другой документ, связанный с Пугачевым, был обнаружен в фондах Центрального государственного архива древних актов. Им оказался неизвестный прежде... паспорт Пугачева, выданный в 1772 году на русском пограничном форпосте в Добрянке (ныне это территория Черниговской области).

Получая паспорт, Пугачев скрыл свое казачье происхождение. Он объявил себя раскольников и заявил о желании поселиться в Заволжье — старинном гезде русского старообрядчества.

Пушкин об этом документе, к сожалению, не знал.

Вот текст этого паспорта, чудом сохранившегося до наших дней:

«По указу ея величества, государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы Всероссийской и прочая, и прочая, и прочая, объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся собою при Добрянском форпосте, веры раскольниковской, Емельян Иванов сын Пугачев, по желанию ево для житья определен в Казанскую губернию, в Синбирскую провинцию к реке Иргизу, которому по тракту чинить свободный пропуск, обид, налог и притеснения не чинить и давать квартиры по указам.

А по прибытии ему явиться с сим пашпортом в Казанской губернии в Синбирскую провинциальную канцелярию. Тако же следующие и в прочих провинциальных и городских канцеляриях являться. Праздно же оному нигде не жить и никому не держать, кроме законной его нужды.

Онны же Пугачев при Добрянском форпосте указной карантин выдержал, в котором находится здоров и от опасной болезни, по свидетельству лекарскому, явился несумнительен.

А приметамы он: волосы на голове темно-русые и борода черная с сединой, от золотухи на левом виску шрам... росту двух аршин четыре вершка с половиной, от робу — 40 лет. При оном, кроме обыкновенного одеяния и обуви, никаких вещей не имеется.

В верность чего дан сей от главного Добрянского форпостно-

го правления за подписанием руки и с приложением печати алой.
В благополучном месте 1772 году августа 12 дня

Майор Мезников,

Пограничный лекарь Андрей Томашевский,
При исправлении письменных дел каптенармус Никифор Баранов».

На обороте паспорта отмечены этапы путешествия Пугачева по России: Новгород-Северский, Глухов, Валуйки, Тараблянская застава-на-Дону...

Как представляется мне история этого документа?

Во время Семилетней войны с войсками Фридриха II Пугачев служил под началом полковника И. Ф. Денисова. Тот «за отличную проворность» даже взял его к себе в ординарцы.

Летом 1762 года Пугачев возвратился на родину. А спустя семь лет ему довелось участвовать в русско-турецкой войне. За храбрость, проявленную в бою, Пугачеву было присвоено звание хорунжего — первое офицерское звание в казачьих войсках.

Зимой 1768 года Пугачев заболел («гнили у него грудь и ноги...»). Станичники посоветовали ему выйти в отставку. Пугачев отправился в Черкасск за отпускным билетом, но Войсковая канцелярия отказала ему в отставке, ему велено было лечь в местный лазарет. Пугачев не согласился — решил лечиться сам: врачевать язвы «легкими из убитых баранов», прикладывая их к ногам. В Черкасске он пробыл три дня, жил в курене у матери своего однополчанина Скоробогатова, а потом отправился в Таганрог — навестить сестру Федосью и зятя Семена Никитина.

С той поездки в Таганрог и начались скитания Пугачева по России.

Сестра и зять, жившие в Таганроге, жаловались Емельяну на тяжкую долю казаков-поселенцев в этой крепости. Семен Никитин прямо сказал ему, что хочет бежать из Таганрога, ибо уже «многие казаки бегут». Пугачев и сам знал об этом. Он предложил Семелу вместе уйти на Терек. «Там наши семейные казаки живут, — сказал он, — и сверх того тамошнему атаману Павлу Михайлову дан указ, чтобы таких тамо принимать».

Но бежать им на Терек не удалось. Кто-то из соседей донес на них коменданту крепости. Семен был арестован, а Пугачеву пришлось скрываться. Комендант послал бумагу и в Черкасск. Атаман повелел арестовать в Зимовейской мать Емельяна — Анну Михайловну. Ее привезли в Черкасск, она почти год провела в тюрьме и там умерла. В Черкасске, как полагают историки, она была и похоронена.

Пугачев все-таки не отказался от своего намерения уйти на Терек. Друзья помогли ему продуктами в дорогу, дали лошадь,

проводили за Дон. Семь дней и семь ночей ехал он почти без остановок. В начале 1772 года прибыл в станицу Ищорскую. Оттуда направился к войсковому атаману Павлу Татаринцеву в Дубовскую и представился как добровольный поселенец, скрыв свою историю.

Стаячиникам новый поселенец пришелся по душе — был и работающим, и смекалистым, и удали ему не занимать. Когда на круге трех только что основанных казачьих станиц — Ищорской, Галюгаевской и Наурской — начали выбирать атамана, выкрикнули Пугачева. Казаки решили послать его в Петербург, в Военную коллегию, с ходатайством о прибавке им жалованья и провианта.

Не пришлось Пугачеву доехать до Петербурга. По дороге в столицу он заехал в Моздок «для покупки харчу и прочего». Не следовало, наверное, этого делать. В Моздоке кто-то опознал его, и едва Пугачев выехал из города, как «за рогаткою» был схвачен и несколько дней содержался под караулом. Пока власти устанавливали личность задержанного, Пугачев сумел подговорить караульного солдата Лаптева и вместе с ним бежал из-под ареста, унеся замок и два звена цепи, которой был прикован в караульном помещении к стулу.

Скрываясь от властей, Пугачев снова побывал на Дону, отсюда подался на Украину. Тогда-то и родилась у него впервые мысль назвать себя Петром III.

Он был далеко не первым в своем намерении: семь самозванцев до Пугачева уже называли себя этим именем. Все они знали, что народ верит в «хорошего» царя, который должен будет избавить его от рабства.

Четыре месяца Пугачев прожил в Стародубском монастыре. Монах Василий, который укрывал его, посоветовал Пугачеву перебраться в Польшу и проводил к Добрянскому форпосту. Там он увидел много русских. Те напутствовали его: «Коль не хочешь, чтоб тебя в кандалы заковали, — говори, что родился в Польше, а идти желаешь в Россию».

Пугачев так и поступил. Майор Меаников выслушал его, велел записать в книгу и направил его в карантин. Писарь оформил, как положено, «нашпорт».

И так случилось, что в карантинном доме Пугачеву довелось познакомиться с беглым солдатом-гвардейцем Алексеем Семеповичем Логачевым, который тоже хотел возвратиться на родину. Они разговорились, и Логачев сказал:

— А ведь ты, Емельян, как две капли воды похож на государя Петра Третьего. Может, ты и есть государь?..

Пугачев ничего ему не ответил. А про себя подумал: возьми

он это имя — на Яике его, как отца родного, казаки примут. На Яике, но не здесь...

Накануне он рассказывал начальнику карантина вымышленную свою биографию — в ней и намек не было, что он беглый донской казак. «Вышел из Польши, хочу поселиться в России...» — твердил он.

12 августа 1772 года Пугачеву выдали наконец паспорт и разрешили отправиться к месту жительства — на реку Ирғиз. Лишь поздней осенью добрался он до Яицкого городка, поселился там у казака Дениса Пьянова.

На Яике Пугачев застал еще следы кровавой расправы над бунтовавшими казаками. Каратели ушли, а недовольство осталось, и Пугачев начал подговаривать станичников к побегу на привольные кубанские земли. В Малыковке (теперь это город Вольск) его арестовали «за недозволенные речи», отобрали паспорт, направили под стражей в Симбирск, а оттуда — в Казань. Губернатор запросил Петербург о мере наказания, и генерал-прокурор Вяземский вынес определение — наказать плетями и сослать на каторжные работы в зауральский город Пелым, «где употреблять его на казенную работу... давая за то ему в пропитание по три копейки в день». Екатерина II одобрила это решение, написав на определении: «Быть по сему».

Предписание о наказании Пугачева прибыло в Казань 1 июня 1773 года, но... за три дня до этого он бежал из тюрьмы, оставив незадачливому начальству «на память» свой паспорт. Бежал дерзко, среди бела дня. Помогли ему, конечно, сообщники. Ходил под охраною двух солдат, собирая милостыню, а на одной из главных улиц его уже ждала готовая тройка лошадей. Сбил с ног одного конвойного, другой сам помог ему сесть на облучок и усакал вместе с ним из города.

А через каких-нибудь две или три недели на Таловом уме (постоялом дворе), близ Яика, объявился «Петр III». Он обнародовал здесь первый свой манифест, в котором царским именем жаловал казаков, калмыков и татар рекой Яиком «с вершин до устья», землей, травами, денежным жалованьем, свинцом, порохом и хлебным провиантом...

Начиналось пугачевское восстание.

* * *

Там, где гомонят теперь над цимлянскими волнами чайки, укрыта на морском дне не одна казачья тайна. Одно только море и знает про них...

Когда разлилось в наших краях степное море, ушли под во-

ду и покинутые казаками займища, и старые могильные курганы, и прокаленные горячим солнцем пески. Давно затоплены и руины могучей крепости Белая Вежа.

Где-то там, в морской пучине, погребены и развалины старинной донской станицы Зимовейской — родины Пугачева.

Но из Зимовейской вышел не один Пугачев. До сих пор многие историки придерживаются версии, что в станице этой — за долго до Пугачева — родился Степан Разин.

Откуда пошла такая версия?

Пустил ее в обиход Александр Ригельман, написавший в 1778 году «Историю, или повествование о донских казаках». Книга эта была издана в Москве лишь в 1846 году — почти три четверти века спустя. По-видимому, некоторые «откровения» Ригельмана не могли понравиться царским приспешникам, долго державшим ее под спудом.

К сожалению, история не сохранила нам никаких доказательств, которые подтвердили бы версию Ригельмана о том, что Разин родился в Зимовейской. Более того. Родиной Разина, скорее всего, был Черкасск. На это указывается во многих казачьих песнях, посвященных Разину (а ведь на Дону говорили так: «Сказка — складка, а песня — былль...»).

У нас то было, братны, на Дону,
На тихом Дону, во Черкасском городе.
Породился удалой добрый молодец
По имени Степан Разин Тимофеевич.

Отец Степана, как известно, по своему положению старшины, должен был жить в казачьей столице. И крестный отец Разина Корнила Яковлев — тоже старшина — обязан был там жить. Крестить Разина могли лишь в Черкасске, потому что лишь там имелась часовня — в ту пору одна-единственная на всю область донских казаков. Наконец, именно в Черкасске был и дом Разина.

Все дело в том, что Ригельман и другие историки неверно толковали чисто казачий термин «зимовец». В 1659 году Разин принимал участие в «зимовой» станице. Так у казаков назывались посольства, которые по осени отправлялись в Москву, а весной возвращались на Дон с полученным для всего войска жалованьем. Участие в таких миссиях почиталось у казаков за особую честь, и те, кто ее удостоивался, получали прозвище «зимовейцы». Имел такое прозвище и Степан Разин.

Нужно учитывать и еще одно обстоятельство. Александр Ригельман, дворянин, генерал-майор, писал свою работу вскоре после подавления пугачевского восстания 1773 — 1775 годов. В то время делалось все для того, чтобы навсегда выкорчевать из

народной памяти любое упоминание о Пугачеве, уроженце станицы Зимовейской. Желая (вольно или невольно) оправдать расправу над этой станицей, Ригельман и придумал версию, что из Зимовейской вышел не только Пугачев, но еще и «вор и богоотступник» Стенька Разин, и дабы подобного больше не повторялось, станица-де справедливо наказана.

В народе думали обо всем этом иначе.

Когда был казнен Разин, голову его посадили на кол и выставили на Болоте (на Большой площади). И тогда родилась молва, будто по ночам голова казненного атамана разговаривает с людьми. А потом пошел слух, что Разину удалось бежать из-под стражи, вместо него казнили другого. Говорили, что Разин жив, только скрывается под другим именем. Прошло ровно сто лет (без единого дня!), и объявился Пугачев. Начали говорить, что Пугачев и есть Стенька Разин: «Сто лет прошло, он и вышел из горы, потому как Стенька — это мука мирская...»

Любопытно, что оренбургский краевед С. А. Попов, просматривая в архивах ревизские записи казаков Уральского войска за 1834 год, встретил записи о 82-летнем отставном казаке Степане Андреевиче Разине, жившем в Кинделинском форпосте (близ Яицкого городка). Не тот ли это Степушка Разин, что упоминается в пушкинской «Истории Пугачева»? Пушкину рассказывала об этом человеке казачка Ирина Афанасьевна Бунтова. И не потомок ли легендарного Стеньки?

Словно грозная буря, прошли пугачевцы по Волге и Яику, по оренбургским степям. Но Пугачев был все-таки схвачен, доставлен в Москву и казнен на той же Болотной площади, что видела Разина. Приговор царского суда был страшным: «Учинить смертную казнь, а именно: четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по частям города и наложить на колеса, а после на тех же местах сжечь...»

В архиве А. С. Пушкина можно отыскать записи о последних часах Пугачева. О том, как, взойдя на эшафот, Пугачев перекрестился и, кланяясь на все четыре стороны, попрощался с людьми, заполнившими площадь: «...Прости, народ православный». «При сем слове экзекутор дал знак; палачи бросились раздевать его... Тогда он сплеснул руками, повалился навзничь, и в миг окровавленная голова уже висела в воздухе...» Толпа «ответствовала» на казнь «превеликим гулом и оханьем...»

Сохранился и карандашный рисунок, сделанный Пушкиным, вероятно, после поездки по пугачевским местам: профиль Пугачева, а слева и над ним — стилизованные портреты Радищева и Данте. Закономерное родство великих Прометеев!

«Не дай бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощад-

ный...» — замечал, словно бы между прочим, Пушкин. «Тем не менее, боясь Пугачева, — писал А. А. Фадеев, — Пушкин был достаточно бесстрашен, чтобы показать его человеком незаурядным и обаятельным»¹.

Собирая под свои мятежные стяги многие и многие тысячи обездоленных соотечественников, Пугачев убежденно говорил им: «Руби столбы — заборы сами повалятся!» И народ рубил — жестоко, беспощадно расправлялся с помещиками, с угнетателями. Подрубленные «столбы» — дворяне и помещики — падали.. В прах рассыпались и «заборы» — их подневольная охрана. Но в самой глубине поля, обнесенного помещичьими «оградами», высилась каменная крепость — самодержавие, а сокрушить ее было не просто. Потому-то исход, как и во времена Разина, был все тем же: кровавые плахи и плоты с виселицами, гремящие кандалы и дорога на каторгу...

Был казнен Разин, но спустя век всю Россию потряс Пугачев. Минуло еще сто лет — и из той же непокорной станицы Зимовейской (народ никогда не называл ее Потемкинской, хотя на это имелся царский указ и стояла она уже на противоположном берегу Дона) вышел казак Василий Генералов. Тот самый Генералов, что вместе с Александром Ульяновым готовил покушение на царя и тоже был казнен на эшафоте.

То место, где когда-то стояла Зимовейская, и то, где была потом Потемкинская станица, находятся теперь на дне Цимлянского моря. Казаки перенесли свои куреня вместе с виноградниками на высокий морской берег и назвали станицу Пугачевской. А по соседству с нею есть хутор Генералов.

Когда царские опричники «наказывали» станицу Зимовейскую, они позаботились и о том, чтобы на Дону не осталось даже фамилии Пугачевых. Всем родичам Емельяна велено было носить новые фамилии — Сарычевы, Фомины, Фомичевы, Даниловы. Но Трофиму — младшему сыну Пугачева — удалось тогда бежать на Оскол. На девятом десятке жизни у него родился сын Филипп. А сам Трофим скончался в возрасте ста двадцати шести лет. В селе Стенькино, на Осколе, до сих пор помнят, что он умел шить добротные полушубки из овчин. Сын его Филипп призывался в царскую армию, участвовал в русско-японской войне, был ранен. Потом участвовал в крестьянском бунте, бежал под видом переселенца в Казахстан. Там и революцию встретил и во время Великой Отечественной войны жил. Умер он в 60-х годах. Плотничал многие годы, был в совхозе каменщиком.

Сарычевы, Фомины, Даниловы живут в самых различных

¹ Фадеев А. А. Соч.: В 5-ти т. М., 1961, т. 5, с. 233.

уголках нашей страны. Не из Зимовейской ли станицы родом их деды и прадеды? Жена Пугачева по происхождению из казаков Недюжиных, а ее сестры породнились с казаками Пилюгиными и Махичевыми. Таких фамилий тоже много на Дону. Так что есть еще неоткрытые страницы истории Пугачева, волновавшей Пушкина!

За Пугачева казаки стояли горой, потому-то и уберегли они от царских опричников и Трофима, и Филиппа. И не очень-то привечали у себя «заезжих», которые начинали расспрашивать у них про Пугачева. Когда Пушкин писал «Историю Пугачева», он сетовал, что «не может выпытать песен и преданий»: столь недоверчивыми были казаки.

Писал об этом и Александр Михайлович Листопадов, знаменитый собиратель донского фольклора. «Чем расположить к себе казаков, — думал Листопадов, — может, угощением?»

— Благодарим покорнейше, — отвечал ему один. — И в молодые годы на рюмку не зарился.

Другой:

— Спасибочка за угощение. Я вроде и пьющий и не пьющий: середка на половинке. А уж потом от нее, да от проклятущей водки, чижало хвораю. Вот честное слово!

Зло взяло Листопадова. Пошел он на крайнюю меру: назначьте плату за песню! Это вконец обидело казаков:

— Не продажные!

— Ояи, песни-то наши, в сердце, а не в закроме! Они ж не пшеница, чтоб отсыпать да продать...

* * *

На рубеже нашего века по тем дорогам, что еще помнили Пушкина, который собирал рассказы очевидцев и народные предания для своей «Истории Пугачева», проехал Владимир Галактионович Короленко.

Писателя давно интересовал образ Пугачева. Он хотел знать, что сохранила народная молва о предводителе крестьянского восстания. После этой поездки Короленко опубликовал свои знаменитые очерки «У казаков». «Интересно, что в то время как «печатный», исторический Пугачев до сих пор остается «человеком без лица», — признавал с сожалением Короленко, — Пугачев легенды — лицо живое, с чертами необыкновенно яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделенный и недостатками человека и полумифическим величием «царя». Меня самого поразило это, когда я собрал воедино эти рассказы».

Открытия ждали Короленко едва ли не на каждом шагу. При-

ехав летом 1900 года в Уральск, он остановился на даче своего знакомого по Петербургу — художника М. Ф. Каменского. Писатель не знал еще, что жена художника, уральская казачка, была из рода Шелудяковых — сподвижников Пугачева. В рассказах хозяйки реальность иной раз переплеталась с вымыслом: она ведь только передавала то, что слышала от матери, от своей бабушки, и все-таки перед писателем будто живые вставали образы пугачевцев — людей неграмотных, не умевших писать и читать, заблуждавшихся и не видевших верного пути, но готовых пойти на плаху ради того, чтобы крепостной люд обрел свободу и счастье. Это и Данила Шелудяков — близкий товарищ и любимец Пугачева. И Степан Абалаяев, носивший шутовское прозвище Еремия Курица, — он происходил из сословия «пахотных солдат», всю жизнь провел в батраках, собственным горбом выбился в уметчики: стал содержателем того самого постоянного двора на речке Таловой, где Пугачев объявлял первый свой манифест. С помощью Абалаяева Пугачев устанавливал связи с яицкими казаками, недовольными политикой Екатерины II.

Помнили на Урале-реке и предводителей работных людей, которые пришли к Пугачеву: Ивана Белобородова, Ивана Грязнова, Григория Туманова. Туманов, кстати, был у Пугачева еще и «придворным писателем» — сочинял прокламации и воззвания, указы и манифесты. Не были забыты подвиги атамана Ивана Зарубина, башкирских полковников Кинзя Арсланова и Салавата Юлаева и «славного разбойника» (как назвал его Пушкин) — Афанасия Хлопуши.

В Уральске В. Г. Короленко собрал и записал не только рассказы об этих людях. В старой части города он сфотографировал и описал два приметных дома. В одном жил Пугачев, когда началась осада Яицкой крепости. А в другом — его хозяином был казак Петр Кузнецов — жила Устинья, ставшая потом женой «царя». Дом этот, писал Короленко, «...деревянный, сложенный, очевидно, очень давно из крепкого лесу. Бревна отлично еще сохранились, хотя один угол сильно врос в землю, а тес на крыше весь оброс лишаем...»

Именно таким увидел этот дом и я, приехав в Уральск в 1977 году. Может, вот только трещин-морщин в торцах старых венцов стало побольше, да солнце и дожди выбелили и прокалили стены... Сейчас в этом доме музей и библиотека. На стенах — фотографии, книги, рукописи, повествующие о тех далеких временах, когда гремела над Россией пугачевская гроза. А еще, конечно, и о том, как полтора века спустя в здешних местах сражалась за власть Советов чапаевская конница. Это Чапаев своим

правом полководца революции переименовал тогда освобожденный от белых Николаевск в Пугачевск...

В доме — широкие лавки под окнами, удобные для отдыха и разговоров. На стене — большие поясные портреты Пугачева и Устиныи Кузнецовой. Писала их местная художница Ольга Сплантьева. Деревянная кровать без единого гвоздя. Кованый казачий сундук. В углу, конечно, иконы. Чугунок на подвеске — для мытья рук. Бронзовая хлебница, самовар, горка посуды, аккуратно выбеленная печь, — все напоминает о той поре, когда по скрипучим половицам скользили легкие шаги «царицы» в сарафане, отделанном парчой и золотом. Устинья и вышивала его сама: она ведь слыла отменной рукодельницей. А еще — песенницей. И, конечно, была первой красавицей, как и пристало царице.

Судьба Устиныи сложилась трагически. После того как восставные были подавлены, ее заточили в крепость, где Устинья вскоре и умерла. Но, перед тем как взять ее под стражу, императрица все-таки пожелала взглянуть на свою «соперницу», приказала доставить ее в Петербург и, по признанию придворных, была поражена ее красотой. Это окончательно решило трагическую участь Устиныи.

В народе часто путали судьбу Устиныи Кузнецовой с историей Настасьи Хлоповой — крепостной актрисы из имения симбирского отставного поручика Носова. Настасья Хлопова тоже оказалась в пугачевском войске, Пугачев приблизил ее к себе, сделал своим адъютантом, доверяя ей важные поручения. О дерзости и отваге мятежной холопки ходили в народе легенды, одна прекраснее другой. То Настасья судила помещиков и жаловала крестьянам землю, то отправляла Пугачеву обозы с хлебом и мешки серебра, то умела уговаривать екатерининских солдат присягнуть «Петру III». Помещики трепетали от одного имени «княгини Владимирской», — так называла себя Настасья Хлопова.

Осенью 1774 года под Сарептой Настасья Хлопова была ранена и схвачена карателями. Ее били и пытали на допросах, хотели, чтоб она покаялась перед императрицей. А Настасья упрямо закусывала губы и, когда, полумертвую, обливали ее водой, твердила одно: «Каяться не в чем. Мужикам я царица, Емельяну — жена, остальные грехи бог простит... Царицей, не холодкой, помираю...»

В 30-х годах писательница Вера Жакова опубликовала очень романтический рассказ о Хлоповой, он понравился А. М. Горькому. В то же время Горький писал Жаковой: «Вы очень торопитесь. Торопитесь не только писать, но и думать... А материал заслуживает серьезного к нему отношения, тщательной обработ-

ки». Рассказывая о своей героине, Жакова, например, сообщала, что Пугачев обручился с Настасьей, и «местный поп обвенчал государя императора Петра III и княгиню Владимирскую». Это — домысел, он ничем не подтверждается. Источником его явились, по-видимому, показания Хлоповой на допросах. Но холопка, вкусившая запах свободы, имела, наверное, право назвать себя царицей!

Собирая предания и сказы о Пугачеве и его сообщниках, Пушкин мог слышать и о Настасье Хлоповой. Но в «Истории Пугачева» он рассказывает все-таки лишь об одной свадьбе предводителя крестьянского восстания — с Устиньей Кузнецовой в Яицком городке. Пугачев «...наименовал ее императрицей, назначил ей штатс-дам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтоб на ектенья¹ поминали после государя Петра Федоровича супругу его государыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешения от синода. Отказ их огорчил Пугачева; но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю»².

Вера Жакова рассказывает о встрече своей героини с императрицей, и это действительно было, но с Устиньей, а не с Хлоповой. Когда «предерзкую самозванку» привезли в Зимний дворец, ей «навстречу поднялась голубоглазая, слегка обрюзгшая немка. Европейская авантюристка, неутолимая любовница, неверная подруга Вольтера и Дидро, брезгливо улыбаясь, смотрела в измученное детское лицо с гордыми искусаемыми губами. «Кто тебе сказал, что ты есть императрис? Императрис есть я...» Терпкий ветер августовских вечеров, холодные звезды и страшный призрачный Емельяна Пугачева ворвались в комнату: «Я — царица, тебя ж не знаю и знать не хочу!»³

А было Устинье немногим больше двадцати лет. Столько же, по преданию, было и Настасье Хлоповой.

* * *

История Пугачева и история Петра, народ и царь — вот главные темы исторических занятий Пушкина. И занимался он ими с дотошностью ученого, полностью отвергал дилетантство. «В наше время, — писал Пушкин, — главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда».

¹ Заздравное моление о государе и о его доме во время церковной службы.

² Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Худож. лит., 1962, т. 7, с. 58.

³ Жакова В. Исторические повести. М.: Сов. Россия, 1973, с. 183.

В одной из записок А. И. Тургеневу он аттестовал себя — в шуточной, правда, форме — историографом Пугачева.

Пушкин был тружеником великим, неутомимым. Он и в исторических своих занятиях тоже оставался поэтом. Великим поэтом.

Не могу не сказать в этой связи вот о чем. Некоторые из нынешних исследователей творчества Пушкина почему-то полагают, что стихию крестьянского мятежа он изучал более как беспристрастный повествователь и хладнокровный прозаик, нежели как поэт¹. Да неверно же! Перечитайте еще раз «Капитанскую дочку», «Историю Пугачева» и наброски к ней, подготовительные материалы, — в них куда больше поэзии и лирического настроения души, чем в иных «эпических» творениях современных поэтов, вознесенных бойкими критиками на пьедестал! Поневоле вспомнишь Маяковского: «Бойтесь пушкинистов...»

В Пугачеве Пушкин увидел крупный исторический характер, и это заставило его взяться за перо. «Феноменальность же Пушкина, между прочим, и в том, что он просто не умел плохо писать». Я цитирую это из «Слова о Пушкине», которое произнес Александр Твардовский на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 125-летию со дня смерти великого поэта.

Не могу не привести также слова Константина Паустовского об «Истории Пугачева»: «...оказывается, это прекрасная проза, точная, какая-то осенняя»². А вот что говорила Марина Цветаева, сравнивая «Капитанскую дочку» и «Историю Пугачева», написанную двумя годами раньше: «И, всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить: не можем НЕ любить».

И последнее. «История Пугачева» вышла в свет в 1834 году. Царь переименовал ее в «Историю пугачевского бунта», сказав, что бунтовщик не может иметь своей истории. Время рассудило, кто был прав, — великий поэт или недалекий умом самодержец.

¹ См.: Куляев Ст. Свободная стихия. М.: Современник, 1979, с. 59.

² Лит. Россия, 1982, 26 февр.



„БЫЛ И Я СРЕДИ ДОНЦОВ...“

Блещь средь полей широких,
Вот он льется!..
Здравствуй, Дон!

А. С. Пушкин

— Я хорошо помню, что научился читать, когда еще не стал первоклассником. Хорошо помню также, что первой книжкой, которую мне подарили, были не сказки с картинками, а стихи Пушкина, и открывалась она волшебными, а тогда еще и таинственными для меня строчками: «У лукоморья дуб зеленый...» Через день я знал их наизусть и все-таки снова и снова брал в руки заветную книжку — столь очаровали меня, казалось бы, простые на первый взгляд слова. Я, конечно, понимал, что это только сказка и никаких русалок и леших на свете не бывает. Вдумай кто-нибудь из старших сказать мне тогда, что и само лукоморье, и заветный дуб находятся совсем неподалеку от нашей станицы, я посмеялся бы над ними: не таким уж лавным бывает человек, когда пошел ему восьмой год.

— Не сразу и не вдруг можно понять, что даже самая красивая сказка, сколько бы ни было в ней вымысла, никогда не бывает просто выдумкой.

— Не мог я даже подозревать в детстве, что знаменитые пушкин-

ские строки: «У лукоморья дуб зеленый...» родились именно в наших, придонских степях.

Об этом не сказано ни в одном из бесчисленных литературоведческих трудов, посвященных великому поэту. Я сразу же предвижу возражения пушкинистов и все-таки готов спорить с ними.

Мне скажут: поэма «Руслан и Людмила» закончена Пушкиным в марте 1820 года, 15 мая цензор Иван Тимковский подписал разрешение на выпуск ее в свет. А на Дону поэту довелось побывать лишь в начале июня.

Все это так. И тем не менее строки о лукоморье родились на Дону.

«Руслана и Людмилу» Пушкин задумал еще в лицее. Ссылка на юг помешала ему отредактировать и «перебелить» свое любимое детище. Уезжая из Петербурга, поэт оставил рукопись на попечение друзей и, конечно, еще не мог в мыслях и думах своих так быстро распрощаться со сказочными образами первой своей большой поэмы.

О том, что случилось позже, хорошо известно. В Екатеринославе поэт тяжело заболел. Здесь и разыскал его генерал Н. Н. Раевский — в бедной хате на берегу Днепра, «в бреду, без лекарства, за кружкой оледенелого лимонада». Раевский ехал на Кавказ с дочерью и сыном (лицейским товарищем Пушкина) и выпросил у своего давнего сослуживца — генерала Инзова, под надзором которого находился поэт, согласие на то, чтобы Пушкин отправился вместе с ними.

Из Екатеринослава они выехали 28 мая (9 июня) 1820 года — степными дорогами к Мариуполю, а оттуда — на Таганрог, к лукоморью. Пушкин написал потом с дороги своему брату Льву: «Я лег в коляску больной, через неделю вылечился».

О первом свидании Пушкина с лукоморьем очень живо вспоминала старшая дочь Раевского — Мария Николаевна (ставшая позже супругой декабриста Волконского и последовавшая за ним в Сибирь). «Я помню, — сообщает она в своих записках, — как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня наступала; под конец у меня вымокли ноги, и это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет:

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!»¹

Между прочим, этот поэтический эпизод использовал потом и Некрасов в «Русских женщинах», описывая Машеньку Раевскую, ставшую женой ссыльного декабриста Волконского. Правда, Некрасов отнес свои стихи к пребыванию Пушкина в Гурзуфе.

Тридцатого мая Раевские и Пушкин прибыли в Таганрог. Остановились они в доме градоначальника П. А. Папкова на Греческой улице (ныне это улица III Интернационала). В ту пору Таганрог был уже большим купеческим городом с разноязыким населением, но «строенным бедный, иные дома крыты соломой...» Провели они здесь сутки, а затем направились в Ростов, «что прежде был предместьем крепости святого Димитрия», как записано в дневнике Н. Н. Раевской.

Наверняка можно предполагать, что долгими степными дорогами от Екатеринослава к лукоморью Пушкин снова и снова возвращался к образам своей поэмы. Курганы с каменными идолами посреди пестрого разнотравья, орлы, парившие в знойном мареве, истлевшие кости в густом ковыле, — все это были те места, где когда-то соратники великого киевского князя сражались с хазарами и печенегами, защищая родную землю. Это, конечно, здесь храбрый витязь Руслан скрестил свой меч с хазарским князем Ратмиром. Ведь и древняя хазарская столица, Белая Вежа, недалеко — у Цимлянской станицы. Здесь, и только здесь, была и вотчина Черномора — злого волшебника и хозяина южных степей, прозванных Диким полем... Значит, отсюда должно начинаться поэма, которую он, Пушкин, не успел закончить, покидая Петербург!

Обо всем этом поэт, наверное же, думал, когда осматривал Таганрог — город, который Петр I задолго до основания Петербурга задумывал строить как столицу России. Пушкин отдыхал под вековыми дубами в гирлах Дона, там, где ржавели в речном иле могучие цепи, — некогда страшный и опасный для кораблей подводный барьер, закрывший путь к Азовской крепости. Сказывали, самая главная цепь — золотая, ее не успел увезти с собой султан-паша, и никак не отыщут теперь, сколько бы ни искали, казаки:

¹ Записки княгини М. Н. Волконской. Чита: Вост.-Сиб. изд-во, 1960, с. 49.

На уз¹ — быстрой Каланче
Ишо он² накинул свою цепю
Через батюшку славный тихий Дон.
Ишо нельзя-то, нельзя нам, бравым казаченькам,
По тихому Дону погулять —
Ишо не лодкой, ишо что не водою,
Ни морским, ни сухим путем...

Где-то по дороге, в донских гирлах, увидели путешественники на одном из островов покосившуюся избушку без окон (или они были на стороне, обращенной к морю), да и дверей не приметили. Обшарпанная, давно не беленная, укрытая густыми зарослями камыша, казалась она совсем нежилой. И вдруг, будто из-под земли, явилась подле избушки старуха — простоволосая, черная от загара, с заткнутым за пояс темным передником. Приложив ко лбу ладонь, поглядела на проезжавшие мимо острова экипажи.

— Во те на! — весело (как рассказывает об этом Раевский) вскричал Пушкин. — Ни дать ни взять — баба-яга у своей избушки на курьих ножках!

Все согласились, что очень похоже.

И еще многое, наверное, виделось поэту на придонской дороге. Возле ерика у Синявки не мог он миновать огромного котла, в котором будто бы варили кашу для русских солдат во время осады Азова. Он ехал мимо развалин Лютика — турецкого форта на Мертвом Донце, мимо обмелевшего Темерника с остатками петровских корабельных верфей на оползающих берегах, мимо руин Танаиса — некогда гордого, не пожелавшего покориться боспорскому царю города-легенды, города-загадки...

Нельзя, конечно, считать простой случайностью тот факт, что для второго издания поэмы «Руслан и Людмила», появившегося в 1828 году, Пушкин пишет стихотворное введение «У лукоморья дуб зеленый...» Этих чудесных строчек не было в первом издании. Нет их и в черновиках поэта, предшествовавших ссылке на юг.

Можно возразить: строки о лукоморье — это просто-напросто переложение одной из сказок няни Арины Родионовны, которые слушал Пушкин в Михайловском. Там ведь тоже есть свое лукоморье. Не буду спорить. Но прежде чем воплотиться в чеканные строки стиха, лукоморье предстало перед поэтом именно во время его путешествия с Раевским на Кавказ.

Было это то самое лукоморье, что круто огибает руины Танаиса.

Старинная легенда рассказывает (а ее мог слышать и Пуш-

¹ Уз — устье реки.

² Паша.

кин), что в незапамятные времена жило в меотийских (приазовских) степях воинственное племя амазонок, состоявшее целиком из женщин. Мужественные и гордые, они сами пахали землю и сеяли хлеб, пасли скот, охотились на диких зверей, в изобилии водившихся в густых непроходимых лесах, а осенью устраивали веселые праздники у громадных костров. Если амазонкам угрожал враг, они меняли соху на лук и копье и умели постоять за себя. Сам Александр Македонский не рискнул отправиться против них в поход.

— Если я одержу победу над амазонками, — сказал он, — моя слава не возрастет. Если же они победят меня, это будет страшным позором. Будут говорить, что великого Александра побили женщины.

И полководец отменил свой поход.

Но в ту же самую пору, когда гремела по всему Ближнему и Среднему Востоку слава Александра Македонского, юноша по имени Танаис — сын вавилонского жреца Бероса и амазонки Лизиппы — вздумал посмеяться над военными талантами женщин и был жестоко за это наказан. Богиня Венера внушила Танаису любовь к собственной матери, и юноша с отчаяния бросился с обрыва в реку. С тех пор эту реку так и стали называть — Танаис. А потом это имя принял город.

Высокий холм, с которого, по преданию, Танаис бросился в воды широкой реки, существует и поныне. Вы можете взобраться на него, увидеть оттуда голубую дельту Дона, а дальше к окоему — берега Азовского моря, напоминающие по форме изогнутый лук. Вот оно — сказочное лукоморье, воспетое Пушкиным.

В тот год, когда Пушкин впервые свиделся с лукоморьем, Танаис еще не открыл своих тайн людям. Лишь три года спустя керченский градоправитель И. А. Стемковский, страстный любитель археологии, раскопал у хутора Недвиговки акрополь, до странности схожий с Ольвийским¹. Тогда же Стемковский высказал предположение, что Недвиговское городище — это именно то место, где некогда существовал Танаис.

Археолог-любитель не ошибался. Но понадобилось почти полтора столетия, прежде чем наука раскрыла загадку этого некогда могущественного города. Впрочем, сказать: «раскрыла» будет, наверно, не совсем точно. Еще и поныне курганы у лукоморья хранят немало тайн и загадок.

Неподалеку от Танаиса, по реке Темерник, проходила когда-то граница между Европой и Азией.

Здесь, у Танаиса, эллинский мир встречался когда-то с миром степных кочевников — сарматов, скифов.

¹ Ольвия — древнегреческая колония на Буге.

Древнее наименование Дона — Танаис — прочно удерживалось в античной географии. Упоминание о нем можно найти у Геродота и Страбона, у римских историков. В III веке до нашей эры, когда в Причерноморье появились первые греческие колонии, название реки принял выросший в этих степях город. А соседнее поселение стало называться Лакедемоном — в честь великой Спарты (по-гречески Спарта — Лакедемон). Между прочим, село Лакедемоновка существует и поныне на том же самом месте, и в нем издавна жило несколько греческих семей. По всей вероятности, пращурами их были греческие колонисты. Кто знает...

Греки везли в Танаис вино, ткани, предметы роскоши. Сарматы давали им в обмен на привезенные товары рабов, продукты скотоводства, рыбу. Само слово «Танаис» — наполовину сарматское, производное от «тои», «тан», что означает «вода», «река».

Пятнадцать веков назад еще стоял у лукоморья легендарный город-крепость, подивившийся из небытия совсем недавно, когда его раскопали археологи и превратили в музей-заповедник...

Я медленно брожу по улицам навеки уснувшего города, и в знойном мареве чудятся мне паруса галер, прибывших из Афи и Паптикапея. Полуголые рабы, позванивая цепями, грузят на суда амфоры с душистым медом и лишеницей. Рыжебородые ремесленники и рыбаки, сильные, загоревшие, в длинных кожаных фартуках, запрокинув в зной головы, пьют, проливая на землю, терпкое вино, и рубиновые капли его стекают по жилистым крепким шеям. Вино это в глиняных пористых кувшинах приносят им полногрудые смуглые женщины с тугими загоревшими икрами, в свободных на груди и бедрах одеждах. Мужчины смолот перевернутые лодки, отгоняя детвору от черно дымящих костров, гончары гомят круг, шлепая широкими ладонями по глине... А вечером, устав от дневных забот, эти люди усядутся вокруг костра, где на огромном вертеле сочно жаривается баранья туша; большими ножами будут они резать окипевшее жиром мясо и, обжигаясь, есть его...

По преданию, отсюда, из Танаиса, вышел Савмак — предводитель могучего восстания рабов, погрязшего Римскую империю.

А кроме Танаиса, есть в степном лукоморье еще и «Донская Троя».

Несколько лет назад в этих местах сделано было открытие, поразившее ученых всего мира, — обнаружена крепость, возраст которой превышает три тысячи лет! Единственная представительница эпохи бронзы на территории европейской части нашей страны. И что примечательно — легендарная Троя и открытая на берегу Мертвого Донца крепость — почти ровесники. Они даже и

внешне похожи друг на друга, обе крепости: по архитектуре, по строительному материалу, из которого были сложены стены, — камню-ракушечнику.

Время не пощадило крепостных стен. И все-таки степные ветры не могли стереть с лица земли форты и башни, их следы остались. Те, кто строит «Донскую Троию», знали толк в военном искусстве, хорошо разбирались в фортификации. И не отсюда ли послали скифы персидскому царю Дарию — покорителю многих стран и народов — свое символическое письмо — птицу, мыш, лягушку и пучок тростниковых стрел: «Если вы не улетите, как птицы, не ускачете в озера, подобно лягушкам, не скроетесь под землей, как мыши, то падете под нашими стрелами...» И войны Дария покинули тогда стены, так и не овладев «Донской Троей».

Курган у станицы Елизаветинской был известен по археологическим раскопкам еще в прошлом веке. Но еще раньше, в середине XVIII века, там поработали грабители. Ученые все-таки продолжали свой поиск. И вдруг — удача, да какая! Они нашли гробницу скифского вождя.

Погиб ли предводитель в сражении, умер ли собственной смертью, но пышность похорон не вызывала сомнений: погребен именно вождь. Трудно даже перечислить все найденные в гробнице сокровища и среди них — золотой горит — футляр для лука и стрел. Последняя стрела из него была вынута двадцать четыре века назад! Время не тронуло золотую пластину, которой был покрыт горит, она была совсем как новая: настоящее золото не тускнеет. А самым дорогим оказались рисунки неизвестного древнего мастера, украсившие пластину. Они изображали сцены из жизни Ахилла — героя Троянской войны. Если помните, «Илиада» начинается с рассказа о его деяниях: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который ахеянам тысячи бедствий содеял...» В ту пору история Ахилла еще не стала легендой. Художник, чеканивший горит, был его современником, а может быть, даже его воином. На небольшой поверхности, размером чуть больше школьной тетради, он изобразил весь путь героя — от рождения до гибели. Вот Ахилла обучают стрельбе из лука. Вот хитроумный Одиссей обнаруживает героя в доме царя Ликомеда, где его спрятала мать, оберегая от участия в битве. Вот сцена примирения Ахилла с Агамемноном. Вот Ахилл надевает доспехи, присланные ему матерью Фетидой — богиней моря...

Пушкин отлично знал историю Ахилла. Подозревал ли он в ту поездку, что созерцает руины «Донской Трои»?

А много лет спустя после скифов сюда пришли хазары и печенеги. Киевский князь Святослав оттеснил их, завоевал развалины Танаиса. Может быть, на высоком этом холме дружинники

Святослава даже пировали, празднуя победу после ратных схваток с недругами. В конце десятого века князь Владимир отдал Танаис вместе с Тмутараканью в удел своему сыну Мстиславу. Но это уже события, куда более близкие к нам по времени.

Книга седого лукоморья удивительна, и перелистать все ее страницы — задача, наверное, непосильная. Те же из них, которые удается прочесть, — неповторимы.

И первая страница в этой книге все-таки была прочитана Пушкиным. Я всякий раз думаю об этом, приезжая в Танаис в начале июня. С недавних пор родилась добрая традиция устраивать здесь ежегодный праздник, посвященный дню рождения Пушкина. Поэты читают стихи, звучат песни, музыка, — и все это в память о той поре, когда придонские степи очаровали великого Пушкина, заставили его взять в руки перо и воспеть сказочное лукоморье...

* * *

В жизни Пушкина было немало страниц, тесно связанных с нашим краем. Недаром одной из самых любимых тем поэта была тема о вольном казачестве. Степан Разин и Емельян Пугачев, храбрые воины донского атамана Платова и цимлянские виноградари, красота и раздолье донских степей, — все это нашло отражение в творчестве поэта.

Я продолжаю листать дневники Раевского и записки Волконской, перечитываю письма Пушкина и хочу представить, как все это было...

В Ростове путешественники осмотрели крепость Святого Дмитрия с ее высокими каменными стенами, еще помнившими Суворова и Сенявина, но давно утратившими какое-либо военное значение. Посетили Богатый колодец — действительно обильный водой родник, на который обратил внимание еще Петр I. А в версте от крепости лежал армянский город Нахичеван. Там задержались у базара. Раевский и Пушкин прошли по торговым рядам, их воображение поразила многоязыковая и пестрая толпа. Были тут и темнолицые армяне в строгих черных одеждах, и греки с итальянцами, и горцы в черкесах, с кинжалами на поясе, и казаки в чекменях, и украинцы в расшитых полотняных рубахах... Когда возвращались в ожидавшие их кареты, Пушкин сказал в раздумье:

— Я жаждал краев чужих, думал, что полуденный воздух оживит мою душу. Но я не знал, что и на стечественном юге так много любопытного, достойного пера поэта. Прелестный край!..

Из Нахичевани направились в казачью станицу Аксайскую.

Ехали через глубокую Кобякову балку. Неровными улочками поднялись на взгорье, к конно-почтовой станции. Там остановились на ночлег.

Войсковым атаманом на Дону был в тот год казачий генерал Андриан Карпович Денисов, старый боевой товарищ Раевского. Раевский, конечно же, захотел повидаться с ним и послал с конноарочным записку в Новочеркасск. Утром две кареты (коляску с прислугой оставили в Аксае) покатали в новую столицу Войска Донского.

Тракт пролегал мимо старого сада атаманов Ефремовых. Слева от дороги высился огромный раскидистый дуб. И вдруг Пушкин заметил полускрытую листвою девушку в длинном ярком платье, схваченном цветистым пояском у талии.

— Смотри, Nicolas: русалка на ветвях сидит! — воскликнул он.

Раевский флегматично улыбнулся:

— На дубе сидит простая девка-казачка. Но ты не был бы Пушкиным, если б не увидел в ней русалку. За это и люблю тебя, Александр...

Оба рассмеялись...

Не эта ли встреча на дороге из Аксайской в Новочеркасск заставила поэта сложить строки будущего пролога к «Руслану и Людмиле»: «Русалка на ветвях сидит...»? Мы не знаем этого. Домысел в творческих рассуждениях — вещь очень ненадежная. Но в воспоминаниях литератора М. П. Погодина есть свидетельство о том, что в 1826 году, 12 октября, на квартире поэта Веневитинова в Москве Пушкин читал «У лукоморья дуб зеленый...» Это было после свидания поэта с Доном.

Вернусь к рассказу о путешествии Пушкина и Раевских.

Кортеж подкатил к триумфальной арке. Здесь начинался широкий Платовский проспект. У атаманского дворца встретил их Денисов — в мундире, при орденах. Как водится, гостей пригласили к столу. Во время обеда — по заведенному еще Платовым порядку — песенники из Атаманского полка исполняли казачьи песни. Пушкин с интересом слушал протяжные, неизвестные ему прежде мелодии, начинал сам тихонько подпевать. Обедая, осматривали город — весьма обширный, но пока еще мало заселенный. Со времени основания города прошло уже пятнадцать лет, но казаки не очень охотно селились в новой войсковой столице. «Стоит город на горе, казакам на горе...» — шутили ины.

А на следующее утро отправились в Старый Город — так именовался тогда Черкасск (ныне станица Старочеркасская). Атаман снарядил для гостей многовесельную шлюпку с гребцами. «Увидите разлив Дона, — сказал Денисов. — Зрелище чудесное!

А по пути загляните на дачу Екатерины Дмитриевны Орловой, вдовы покойного атамана Войска Донского. У нее гостит деверзь, Алексей Петрович Орлов...»

Бывший командир лейб-гвардии казачьего полка Орлов был хорошо знаком Раевским. У дачи Орловой сошли на берег. Генералы по-приятельски обнялись, начали вспоминать свои ратные дела. Дочери Раевского развлекались, как могли. А Пушкина вновь начало лихорадить. Хотелось закутаться в плед и, свернувшись калачиком, как он любил это делать, лежать неподвижно, наблюдая за облаками в небе. Но хозяйка уже звала всех к столу...

А потом они осматривали Старый Город. В своем дневнике Н. Н. Раевский запишет: «Сей разжалованный город в стапцу еще более обыкновенного залит водой. В нем осталось домов до 700... другие перевезены в Черкасск (имеется в виду Новочеркасск. — В. М.)... Но не могли увезть памяти, что это первое было гнездо донских казаков».

Пушкин видел войсковой девятиглавый Воскресенский собор, построенный еще при Петре I в 1706—1719 годах. На майдане у собора когда-то шумела разинская вольница. А в самом соборе показали поэту цепи и кандалы, в которые был закован Разин. Осматривали Ратненскую церковь со старинным кладбищем, где похоронены были все донские атаманы XVIII века, торговые ряды, казачьи дома. Не могли пройти мимо дома Булавица, мимо куреня Разиных. Все в Старом Городе дышало мятежным прошлым.

Время, проведенное Пушкиным на Дону, совпало с тревожными событиями. Хутора и станицы Таганрогского уезда были охвачены крестьянскими волнениями. Пушкин и Раевские встречали на придонских дорогах крестьян, спешивших к повстанческим центрам — в Лакедемоновку, в Мартыновку-на-Миусе. Во многих хуторах вообще не оставалось жителей, дома стояли пустыми. Поэт накапливал богатые впечатления о крестьянском быте, о жестокости царских властей по отношению к восставшим. Жадно рассиравивал о Степане Разине, записывал предания о нем. Может быть, именно тогда появилась у него мечта воплотить образ Разина в поэзии. Среди черновых набросков «Путешествия Онегида» встретим мы потом имя мятежного атамана. Своего брата Льва Сергеевича Пушкин будет просить прислать ему «историческое сухое известие о Степане Разине — единственном поэтическом лице русской истории...»¹

Именно тогда, после свидания с Доном, напишет Пушкин три

¹ Архив Раевских. СПб, 1908, т. 1, с. 521.

стихотворения о Степане Разине: «Как по Волге-реке широкой...», «Ходил Стенька Разин в Астрахань-город торговать товаром...» и «Что не конский топот, не людская молвь...» Он будет читать их на том же вечере у Вeneвитинова вместе с прологом к «Руслану и Людмиле» 12 октября 1826 года.

Но стихи о Разине не будут опубликованы, этому воспротивится цензура. Бенкендорф официально уведомит Пушкина 22 августа 1827 года: «...при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему не приличны к печатанию. Сверх того церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

До конца своих дней поэт интересовался личностью Степана Разина, продолжал собирать материалы о нем. Вот что рассказывал об этом граф П. X. Граббе (Пушкин познакомился с ним у Н. Н. Раевского в Петербурге в 1834 году): «Мы обедали и провели несколько часов втроем... Он занят был в то время историей Пугачева и Степана Разина... Он принес с собой даже брошюру на французском языке, переведенную с английского и изданную в те времена одним капитаном английской службы, который по взятии Астрахани представился ему и был потом очевидцем казни его».

Речь шла, видимо, об английском офицере Давиде Бутлере.

Другое свидетельство о работе Пушкина над разинской темой можно найти в письме поэта Н. Н. Языкова брату: «Говорят, что Пушкин написал много нового, между прочим поэму «Стенька Разин»... Видно, он много занимается своим делом. Слава и честь ему».

Мы не знаем, была ли действительно написана Пушкиным поэма о Разине. Во всяком случае, до нас она не дошла. Да и могла ли вообще дойти? Даже за небольшие стихотворения о Разине Пушкин получил строгое внушение от царя (ведь Бенкендорф писал поэту, выполняя волю царя). Что же ожидало бы поэта после создания поэмы? Возможно, поэт сам уничтожил черновики поэмы?..

Собирая материалы для «Истории Пугачева», Пушкин неизбежно снова обращался к образу Разина. На Урале он записал, например, легенду о посещении Петром I могилы Разина. Стоит заметить, что Петр I в свое время будто бы жалел, что «сей способный человек жил не в мое время, я сделал бы из него мужа, весьма полезного Отечеству». Так, по крайней мере, гласит предание.

За год до своей смерти Пушкин перевел на французский язык несколько народных песен о Разине («О рождении Разина», «О смерти Разина», «Об убийстве астраханского воеводы»). Опубликовать их в России поэт, конечно, не мог.

В песнях, легендах и преданиях о Разине Пушкина привлекало прежде всего неугасимое стремление казачества к свободе. В поэме «Братья-разбойники», замысел которой оформился, конечно же, под впечатлением виденных на Дону в 1820 году картин народного восстания, Пушкин недаром изобразил среди персонажей и «беглеца с берегов воинственного Дона». А брату своему поэт писал 24 сентября 1820 года: «Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков — теперь тебе не скажу о них ни слова».

Что это были за записи, можно лишь догадываться. Во всяком случае, Пушкин хорошо знал о многолетней борьбе донцов за свои права. Не случайно ведь он в трагедии «Борис Годунов» вложит потом в уста Самозванца слова, обращенные к посланцу с Дона «от казаков верховых и низовых»:

Мы ведаем, что ныне казаки
Неправедно притеснены, гонимы...

Все это — и интерес к Разину, Пугачеву, к донским казакам, к степному лукоморью — родилось и прочно утвердилось в душе поэта после того путешествия с Раевскими на Кавказ.

* * *

Во второй раз Пушкин побывал на Дону девять лет спустя. Первого мая 1829 года он выехал из Москвы на юг. Еще за год до этого просил он определить его в армию, действующую на Кавказе. «Все места заняты», — последовал категорический ответ Бенкендорфа, выполнявшего волю царя. Не получив официального разрешения властей, поэт выехал сам, по собственной воле.

Обеспокоенный Бенкендорф, не без основания заподозрив Пушкина в том, что путешествие предпринято еще и затем, чтобы встретиться с декабристами, шлет секретное предписание... И над Пушкиным на все время путешествия устанавливается тайный надзор.

Не ведал Пушкин, что, пока он едет, восторгаясь всем увиденным, пренебрегая правилами следования по опасной дороге, чтобы наглядеться красотой неопишуемой, — за ним неусыпно следят жандармы.

Незадолго до отъезда из Петербурга Пушкин сделал предложение семнадцатилетней красавице Наталье Гончаровой и получил от ее матери ответ, весьма обнадеживающий. Мать писала о молодости Натальи, о необходимости подождать, подумать... Это

не было отказом, давало ему право надеяться. Первого мая Пушкин написал будущей теще восторженно-благодарное письмо и тотчас выехал на юг.

Он понимал, что, покидая Петербург без разрешения царя и Бенкендорфа, навлечет на себя их гнев, что потом ему придется оправдываться и подыскивать благовидные мотивы для объяснений. Но все это будет потом, а пока... Им владело чувство свободы, раскованности, казалось, будто вырвался он на свежий воздух из душевной тюремной камеры.

Из Калуги Пушкин свернул в Орел и сделал двести верст лишних, чтобы повидаться с опальным генералом Ермоловым. Затем путь его лежал через Елец, воронежские равнины, Новочеркасск, калмыцкие степи. Ехал он быстро, не задерживаясь. В Новочеркасске остановился на конно-почтовой станции — в одноэтажном деревянном доме на Атаманской улице. Здесь он, к своей радости, встретился со старым другом — графом Владимиром Алексеевичем Мусиным-Пушкиным, в прошлом активным членом Северного тайного общества. После разгрома декабристов тот отсидел шесть месяцев в крепости и был отправлен на службу в Тифлисский пехотный полк. Теперь опальный офицер возвращался из отпуска к месту службы на Кавказ. Пушкин тоже хотел посетить Тифлис — там в Нижегородском драгунском полку служил его младший брат Лев Сергеевич. Договорились путешествовать вместе.

Из Новочеркаска выехали на следующий день рано утром. Мусин-Пушкин ехал в просторной бричке, наполненной провизией, вином, книгами, мундирами и ружьями. Александр Сергеевич — в своей коляске.

В станции Аксайской, пока смотритель конно-почтовой станции записывал в подорожную книгу фамилии и звания проезжающих, а ямщики закладывали лошадей, Пушкин стоял у крутого обрыва, смотрел на задонье и вспоминал свою первую поездку по этим местам с семьей Раевских — такую счастливую для него и памятную. Брату своему он писал потом: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простотой, прекрасной душой...» С тех пор прошло девять лет, и что же случилось? Прелестная Машенька, княгиня Мария Николаевна Волконская томится в сибирской глуши, в Нерчинских рудниках, куда добровольно последовала за своим мужем, декабристом Сергеем Волконским, сосланным на каторгу. С нею вместе отправилась в Сибирь, чтобы разделить участь мужа, другая мужественная женщина — княгиня Трубецкая... Сколь же превратны человеческие

судьбы, думал, наверное, Пушкин, и как жестоки бывают удары изменчивой фортуны...

За переправой начинался задонский тракт. Широкая степь и удивила, и обрадовала поэта своими просторами. Все здесь было ново, необычно: и заливные луга с ериками, озерами, похожими на серебряные чаши, и густые травы в рост человека, и птицы, неведомые в северных лесах, орлы, сидящие на кочках, означавших большую дорогу, строго и гордо поглядывающие на редких путников, а на тучных пастбищах — «кобылиц неукротимых гордо бродят табуны...» Это были стихи его друга Рылеева, тоже опального, как и Ермолов, как Мусия-Пушкин, как многие другие верные товарищи.

Нешадно палило солнце, мучила жажда. Но подвижной и общительный Пушкин не мог усидеть в тени своей коляски, он то и дело перебирался в бричку Мусина-Пушкина, где можно было говорить обо всем откровенно, не боясь, что их кто-то услышит. Говорили о тайном по-французски, чего не мог понять казак-возница...

К вечеру показался калмыцкий улус. Белые войлочные кибитки стояли полукругом, неподалеку от них копошились женщины и дети. За кибитками мирно паслись косматые низкорослые кони. Чуть поодаль становища увидели избу почтовой станции, выкрашенную желтой охрой.

Пока меняли лошадей, Пушкин пошел к кибиткам. Поэт хорошо знал историю этого «смирного и доброго народа» из трудов ученого-востоковеда Никиты Яковлевича Бичурина, дарившего ему свои книги о Тибете и Джунгарии — родины ойратов, или калмыков. Знал, что в Россию калмыки пришли в начале семнадцатого века, кочевали между Волгой и Яиком. Знал также, что в конце восемнадцатого столетия, доведенные местным начальством до отчаяния, калмыки поддержали восстание Пугачева. Калмыцкий старшина Федор Дербетов привел к Пугачеву отряд в триста сабель — он стал ядром пугачевской конницы. А после того как восстание было жестоко подавлено царскими войсками, тридцать тысяч калмыцких семей решили уйти за Волгу, к родину своих предков, в Джунгарию. Это был тяжкий исход. Большая часть калмыков погибла в пути, а бывшая родина, где уже хозяйничали китайцы, встретила их совсем неласково...

О своей поездке по задонским степям поэт расскажет потом в своих дневниках так:

«Кочующие кибитки полудиких племен начинают появляться, оживляя необозримую однообразность степи. Разные народы разные кашки варят. Калмыки располагаются около стационарных

хат. Татары пасут своих вельблюдов¹, и мы дружески навещаем наших дальних соотечественников.

На днях, покамест запрягали лошадей, пошел я к калмыцким кибиткам (т. е. круглому плетню, крытому шестами, обтянутому белым войлоком, с отверстием сверху). У кибитки паслись уродливые и косматые кони... В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; котел варился посредине, и дым выходил в верхнее отверстие. Молодая калмычка, собой очень недурная, шила, куря табак. Лицо смуглое, темно-румяное. Багровые губки, зубы жемчужные. Замечу, что порода калмыков начинает изменяться, и первобытные черты их лица мало-помалу исчезают. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — «***» — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себе». — «Поцелуй меня». — «Неможна, стыдно». Голос ее был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать со всем своим семейством. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Не думаю, чтобы кухня какого б то ни было народу могла произвести что-нибудь гаже. Она предложила мне свой коврик, и я не имел силы отказаться. Я хлебнул, стараясь не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня по голове мусикийским орудием, подобным нашей балалайке. Калмыцкая любезность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее. Вот к ней послание, которое, вероятно, никогда до нее не дойдет...»²

Свое послание Пушкин будет складывать в дороге. Образ красавицы-калмычки, «степной Цирцеи», еще долго его не покидал. Мысли переносили поэта в Петербург, в великосветские салоны, где блистали нарядами столичные модницы. Ставя рядом с ними степную красавицу, Пушкин не без удивления находил, что она ему и ближе, и дороже. Он вспоминал еще, как «офранцуженные» завсегдатаи салонов восторгались повесой Сед-Маром — героем французского романиста Альфреда де Виньи. Сам поэт относился к нему весьма неодобрительно и часто иронизировал над автором. Думая о красавице-калмычке, вспоминал и о Натали...

Уже во Владикавказе, в номере дешевой гостиницы, он, не успев умыться с дороги, сядет за стол, чтобы записать стихи, которые родились в задонской степи. Потом торопливо сложит листок вчетверо, сунет его в карман...

¹ Так у Пушкина. — В. М.

² Цитирую по черновым запискам А. С. Пушкина к «Путешествию в Арзрум». — Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1960, т. 5, с. 565—566.

Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моих ватей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей.
Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не кропишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: ma dov'e!¹
Галоп не прыгаешь в собрание...
Что нужды? Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мой ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! Не все ль одно и то же:
Забиться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой?

В Карсе, турецкой крепости, взятой русскими войсками, с этой рукописью приключится потом забавная история. Пушкин расскажет о ней в «Путешествии в Арарум».

Торопясь догнать армию, находившуюся уже за Карсом, Пушкин потребовал у офицера-турка лошадей. Тот, в свою очередь, потребовал у него документ на право получения лошадей. Сообразив, что офицер по-русски читать не умеет, Пушкин подал ему первый попавшийся в кармане листок. Турок внимательно рассмотрел на него и, распорядившись привести лошадей, вернул Пушкину бумагу. Это было «Послание к калмычке»...

* * *

Послание, вероятно, никогда к ней не дойдет... А оно все-таки дошло!

Я думал об этом, приехав в поселок Южный, что на берегу Маньча. В тот день строители задонских оросительных систем принимали здесь гостей — поэтов и писателей из Элисты и Ростова. На огромной площадке при слепящем свете автомобильных фар и прожекторов гости читали свои стихи. Народный поэт

¹ Но где... (первые слова итальянской арии).

Калмыкия Давид Кугультинов рассказывал собравшимся о Пушкине.

— Как мог он предсказать, — спрашивал Кугультинов, — что я, «друг степей калмык», почти полтора века спустя буду благоговейно стоять у его изваяния на Тверском бульваре и шептать его имя? Да я ли один? Оглянулся — рядом стоит блондин с рыжеватыми волосами, — не финн ли? И еще некто с характерным монгольским лицом, может быть, один из тех, кого во времена Пушкина называли «тунгуз», сын народностей Севера...

И Кугультинов вспомнил старого учителя, калмыка Эмге Халаявкина, который много лет записывал в степных хотолах народные песни. Тот принес ему две ученические тетради с голубыми обложками, в которых были не только стихи, но и рисунки. На одном из рисунков был изображен Пушкин — он стоял, облокотившись о передок повозки, а перед ним пела молодая калмычка, аккомпанируя себе на домбре. А рядом — старик, видимо, ее отец, держал под уздцы оседланного коня. За ними угадывалась широкая и бескрайняя степь.

— И странно! — добавил Кугультинов. — Все лица на рисунке были мне знакомы, только я не мог точно сказать, кто они из числа моих знакомых. Кто это поет? Неужели та самая калмычка, с которой встречался Пушкин и посвятил ей удивительные стихи? Но та ли? Правда, на ней старинный калмыцкий наряд, но лицо... Оно одухотворено поэзией Пушкина. А старик? Быть может, это он рассказал Пушкину чудесные сказки, потом введенные поэтом в «Капитанскую дочку»? Он мог рассказать, но... Все-таки это лицо скорее напоминало лицо самого Халаявкина...

Я долго рассматривал этот рисунок, — продолжал Кугультинов. — Он был немного наивен, выполнен рукой непрофессионала, рисунок, в котором столько было явных анахронизмов. Но ведь случается иногда, ты человека яснее видишь в его ошибке. Старый учитель-калмык не случайно нарисовал Пушкина среди сегодняшних калмыков, ибо только после Октябрьской революции Пушкин пришел к нам и живет среди нас как наш великий поэт. Да разве только к нам он пришел? Ко всем народам Советского Союза и — всюду стал своим...

На вечере читала свои стихи Бося Сангаджиева — первая поэтесса-калмычка. И тоже — о Пушкине. О девушке, которую хотел поцеловать Пушкин (она называла ее своей прабабушкой). Значит, дошло все же стихотворное послание великого поэта в калмыцкую кибитку! Читал свои стихи и ростовский поэт Даниил Долинский, давно и плодотворно работающий как переводчик. Конечно, и его стихи были о той девушке, ставшей в здешних

краях уже легендарной, и перекликались они с тем, о чем только что говорила Боса:

Наверно, та домбра была к добру,
Когда поэт, калмычку обняв шало,
Запомнил лбом не звонкую домбру,
А ту ладошку, что ее держала...

Откуда знать ей в тишине полей,
Степной Цирцее, вдалеке от света,
Что жить и пережить столетия ей
В послании и в памяти поэта!

Откуда знать, что все это не зря,
что взгляд ее строку его наполнит?!
...Об этом, мне стихи свои даря,
Любезная калмычка вдруг напомнит.

* * *

Приехав в Тифлис, Пушкин не застал там своих друзей: они находились в действующей армии. «Желание видеть войну и сторону мало известную,— писал он потом в своих дневниках,— побудило меня просить позволения проехать в армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума».

На фронте Пушкин встречался с донскими казаками и сам бывал в бою. Донцы полюбили его и охотно приняли в свою семью. «В «Путешествии в Арзрум» поэт рассказывал, как он в сопровождении тридцати донских казаков, отслуживших свой срок, возвращался затем в июле 1829 года на родину. По дороге встретился им шедший на смену полк. «...Казаки узнали своих земляков и поскакали к ним навстречу, приветствуя их радостными выстрелами из ружей и пистолетов. Обе толпы съехались и обнялись на конях при свисте пуль и в облаках дыма и пыли».

Очень может быть, что на одном из привалов или в седле, когда в памяти поэта еще свежи были эпизоды недавних сражений, и родились стихи:

Был и я среди донцов,
Гляд и я осмапов шайку.
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку...

Возвращался Пушкин по уже знакомой ему Военно-Грузинской дороге. Во Владикавказе пересел с коня на коляску.

В Ставрополе простился он с горами и ущельями — начались степи. Теперь они не были залиты водой, как тогда, в мае, но

пойменные луга еще зеленели и озера по-прежнему сверкали серебром.

К аксайской переправе подъехали вечером. Не впервые видел Пушкин Дон, но всякий раз его волновала эта река — колыбель казачьей вольницы. Он вышел из коляски на берег, снял цилиндр и, шагнув к самой кромке воды, с чувством сказал, как старому другу:

— Здравствуй, Дон!

По плашкоутному мосту переправились через реку, поднялись в гору и завернули в гостеприимный двор знакомой почтовой станции. Ямщики распрягли лошадей, навстречу уже спешил смотритель в форменном, порядком затасканном сюртуке. Заказав ужин, Пушкин присел у раскрытого окна. По ту сторону Дона лежал лесистый остров. Напротив далеко был виден Дон, бегущий к морю, справа вливались в него воды Аксая. Где-то там, выше, слышал поэт от казаков еще в 1820 году, когда был в здешних местах с семьей генерала Н. Н. Раевского и ездил в Старый Черкасск, лежит остров Буян, на нем запрятал Степан Разин драгоценный клад — ищут давно его и не могут отыскать...

А перед глазами его снова вставали лихие казаки-наездники в далеком Арзруме, где совсем недавно он жил в палатке Николая Раевского, участвовал в переходе через Саган-Лу и в сражениях с Гаки-пашой. Скакал с казачьей пикой наперевес, преследуя вместе с казаками противника. И вот их колыбель... Поклон тебе, тихий и славный Дон, от далеких твоих сынов!.. Но война окончена, казачьи полки уже возвращаются в родные края. Пушкин представил себе, как они переправляются через пограничную реку Арпачай — горную, бурную, как пьют из нее воду донские кони. Мысли складывались в стихотворные строки. Пушкин торопливо достал из дорожного чемодана чернильный прибор, бумагу...

Блеща средь полей широких,
Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.

Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аралса и Евфрата
Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,
Чужа родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

Два года спустя стихи эти появятся в «Литературном приложении» к газете «Русский инвалид», их положат потом на музыку. Но все это будет потом. А пока поэт набирался новых и новых впечатлений.

Он видел из окна конно-почтовой станции, как у берега толпятся у каюков казаки — босые, с закатанными по колено шароварами. Наверное, рыбаки. Торопливо накинул фрак, спустился к Дону. К нему потянулись с корзинами в руках:

— Господин хороший, купите свежей рыбки!..

Пушкин улыбнулся:

— Купил бы, да жаль — в Петербург не доведу... Вот ухой бы меня угостили...

Чуть поодаль, у самой воды, уже полыхал костер, закипала вода в казане. Пока варилась уха, Пушкин присел на днище опрокинутой лодки, задумчиво смотрел на загорелье, дышавшие здоровьем лица рыбаков, на румяных казачек-торговок. Он поднялся, подошел ближе к костру и попросил рыбаков что-нибудь спеть.

— Какую вам желательно послушать?

— Спойте свою, донскую, казачью.

Казачки запели. Сначала «Сбушевалася на море непогодушка, непогодушка в море небольшая, небольшая, только волновая...» Потом «Из лесу дремучего казаки идут, на руках своих носилочки, носилочки несут. Носилочки не простые, с ружьев сложные...» На тех носилочках казака несут с отсеченной головой, а конь его плачет и говорит своему хозяину:

Сойди ты, хозяйюшка, с турецкой земли,
Все твои товарищи на Дон поушли,
Твоему-то отцу-матери поклон понесли,
Молодой твоей женошке с малыми детьми...¹

Подступала к горлу тоска — непонятная, пронзительная, не отмахнуться от нее, не отвернуться... Пушкин встал, широким шагом пошел от костра к темной улице, круто поднимавшейся в гору. Вышел на майдан с низкой деревянной церквушкой, побродил по кривым переулкам. Рядом с деревянными куренями с балясами, рядом с глиняными беленькими хатами, крытыми ка-

¹ Песни эти были записаны в 1936 году на хуторе Верхне-Гнутове сельским учителем Василием Петровичем Гнутовым со слов старой аксайской казачки.

мышом, видел он и просторные кирпичные дома под железной крышей. «И казаки не избегали общей участи: хоромы соседствуют с лачугами», — размышлял поэт. На Аксайском редуте, по соседству с гостиницей, редуте, давно уже никому не нужном, проиграла отход ко сну солдатская труба. Берег заволакивало туманом, и давно уже погас рыбацкий костер — не было видно даже тлевших головешек.

Наутро поэт отправился в Новочеркасск.

...Еще и поныне сохранилось в Новочеркасске деревянное одноэтажное здание, где останавливался, возвращаясь из Арзрума, Пушкин. На его фронтоне есть мемориальная доска. Она повествует о том, что

«Здесь, в доме бывшей почтово-ямщицкой станции останавливались:

А. С. Пушкин — 1829 г.

М. Ю. Лермонтов — 1840 г.

А. С. Грибоедов — 1818, 1823, 1828 гг.

Ссылные декабристы:

В. А. Мусин-Пушкин,

И. И. Пущин,

П. А. Бестужев,

Н. И. Лорер,

А. Е. Розен...»

Новочеркасский краевед Борис Плевакин разыскал в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина любопытные воспоминания о встрече с Пушкиным небезызвестного донского военного деятеля А. П. Чеботарева, записанные с его слов. Узнав, что в город приехал Пушкин, Чеботарев «...тотчас же полетел в гостиницу... и прямо вбегает в комнату, где тот обедал. Пушкин спрашивает: «Что вам угодно?» Он отвечает: «Видеть Пушкина». — «Ну, так вы его видите».

Пушкин... принял его очень радушно. Ну, говорит, молодой казак, вижу я, что в вас много поэзии, и вам — первый экспромт, написанный при виде вашего Дона...»

Так почитатель пушкинского галанта донской казак Чеботарев стал первым слушателем стихов «Блещет среди полей широких...»

В Новочеркасске, ожидая из Петербурга денег, Пушкин задержался. Но жить ему на почтовой станции было беспокойно, и поэт перебрался во «въезжую квартиру» — к пожилой вдове казачьего офицера. Здесь он чувствовал себя почти как дома. Непринужденно беседуя с хозяйкой, дотошно расспрашивал у нее о прошлом и настоящем казаков, их быте, обычаях, укладе. Много бродил он по городу, бывал в книжной лавке, познакомился ближе с казачьими офицерами.

Много лет спустя, в «Казачьем вестнике» за 1887 год, местные старожилы вспомнят об этом пребывании Пушкина в их городе. Они расскажут о том, как однажды поэт попросил хозяйку показать ему старинные казачьи наряды и она достала из сундука залежавшиеся платья. Особенно понравился Пушкину жемчужный шелковый колпак с вышитыми по нему яркими цветами. Поэт пришел в восторг. Смеясь, он кое-как примостил его себе на голову, упрятав под колпак курчавые каштановые волосы, и в обличье таком вышел на балкон. Сел на табурет у перил, скрестил на груди руки и вдруг, согнав с лица улыбку, придал ему надменное выражение гордой красавицы. Прохожие с удивлением смотрели на столь необычное зрелище. Забава кончилась тем, что Пушкин уговорил вдову продать ему этот колпак и увез его потом в Петербург...

Однажды к поэту пришел чиновник, назвался Сербиным и спросил, не встречался ли он на Кавказе с Василием Дмитриевичем Сухоруковым, его другом. Пушкин насторожился. С Сухоруковым, донским историком, другом многих декабристов, жившим в Новочеркасске после их разгрома под надзором полиции, а затем сосланным на Кавказ, Пушкин познакомился в Арзруме. Поэт знал, что Сухоруков, подозреваемый властями в причастности к декабристам, и в армии находился под негласным надзором, поэтому принял незнакомого гостя отчужденно, опасаясь неприятностей. Однако, поговорив с Сербиным, убедился в его искреннем расположении к Сухорукову и тогда только сказал, что не только видел Василия Дмитриевича в Арзруме, но не раз проводил с ним за беседою вечера.

— Сухоруков имеет отличные дарования, — сказал Пушкин. — Он умный и любезный человек, а сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных делах, о своих исторических изысканиях. Но у него отняли богатейший архив, некогда тщательно собранный им! — Поэт добавил это с горечью и уже совсем дружелюбно посмотрел на Сербина большими чистыми глазами: — Жаль, если его планы и желанья не будут исполнены...

Сербин предложил Пушкину поселиться в его доме на Александровской улице, и поэт принял это предложение.

Старожилы Новочеркасска вспоминали еще и такой случай. Осматривая город, Пушкин как-то набрел на книжную лавку казака Жидкова. Покопавшись в разнородном бумажном хламе, купил за грош потрепанную греческую книжку. Наугад спросил у книготорговца, есть ли в лавке «Евгений Онегин». Оказалось, есть. Он пожелал узнать, сколько же стоит его детище... Жидков

запросил чудовищно дорого. На миг превратившись в обыкновенного покупателя, Пушкин воскликнул:

— Помилуйте, за что же так дорого?

— Сделай одолжение, — отвечал хозяин лавки, не подозревая, что перед ним автор «Евгения Онегина», — за эти сладенькие стихи следует брать еще дороже...

Похвала льстила авторскому самолюбию, тем не менее в душе Пушкин, наверное, возмущился: как же бессовестно нажимаются торгаши на его книгах, за которые сам он получал от издателей весьма умеренные деньги.

Живет в Новочеркасске предание, будто Пушкин побывал в одном из винных погребков, где его угощали отменными донскими винами. Научные сотрудники Музея истории донского казачества даже покажут вам в старой части города это памятное место — солидный полуторазтажный дом, неподалеку от бывшего дворца наказного атамана Кутейникова. Внизу — замшелая, наглухо заколоченная, перетянутая кованым запором дверь... Это и был тот самый заветный погребок. Между окном и дверью еще сохранились следы вывесок. В самом погребок — светлые, прохладные комнаты, большие некрашенные скамейки... Сразу вспоминаются стихи:

Погреб мой гостеприимный
Рад мадере золотой
И под пробкой смоляной
S^t Пере бутылке длинной...

Дрожащее пламя свечей, чарки кавказской чеканки, веселые лица подвыпивших казаков... Говорят, когда поэт пришел в погребок, нашлись среди посетителей такие, что помнили его по Арзруму, стали угощать его наперебой. Он пил медленно, смакуя, донское вино с терпким степным ароматом и освежающей кислоткой, чувствовал, как пробуждается в бокале хмель бунтующего сока...

По дороге из Тифлиса Пушкин случайно встретился с Дуровым — офицером лейб-гвардии, братом «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, и тот подчистую обыграл поэта в карты. В кармане у Пушкина оставался мелок (хотел отыграться Дурову на конно-почтовой станции, да так и позабыл мелок), вытащил его из кармана и написал на дубовой двери погребка что-то озорное, веселое. Что именно — так и осталось для нас неизвестным. Казаки, прочитав, хохотали, хлопали Пушкина по плечу, снова тянулись к нему с чарками. Они совсем признали его своим...

Минуло еще несколько дней. Снова заложена в коляску пара лошадей, казак-ямщик взял в руки вожжи. Вот уже и триум-

фальная арка осталась позади, и фашинный мост через реку Тузлов пружинит под колесами. Снова потянулась ровная степь, уже тронутая осенней желто-серой краской, да редкие курганы-могильники у окоема.

Дорога вела поэта в Северную Пальмиру, которая станет вскоре для него Голгофой...

* * *

В Ростове, на Пушкинском бульваре, есть памятник поэту. Он поднялся на пьедестал из красного полированного гранита — бронзовый, вечный, повернув голову к Дону, как бы затем, чтобы еще раз окинуть взором бескрайние степные дали за рекой. Скульптор изваял Пушкина молодым, насмешливо бодрым и одухотворенным, и кажется, что поэт, весь устремленный вперед, вот-вот скажет приветственно и звонко:

— Здравствуй, Дон!

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю	3
«И взмог посевет тот черной скорбью...»	4
Пропавшие грамоты	24
Автограф Пушкина	37
«Был и я среди донцов...»	52
Гусарская баллада	76
Судьба крепостного философа	85
Письма из Ясной Поляны	96
Простая история	114
Сказ по казака Чигу	125
Память о «Красной правде»	137
Набережная имени Горького	146
На сепм ветрах	153

Владимир Семенович МОЛОЖАВЕНКО

«БЫЛ И Я СРЕДИ ДОНЦОВ...»

Записки краеведа

Редактор Т. К. Кобец
Художник И. С. Виднеев
Художественный редактор В. С. Тер-Варганян
Технический редактор Л. М. Криволапова
Корректоры Т. В. Краснолуцкая,
М. Р. Иванова, О. И. Антюфеева

ИБ № 1325

Сделано в набор 24.10.83. Подписано в печать 11.01.84. ПИК 05003. Формат 60x84/16.
Бум. тип. № 2. Гарнитура об.-новая. Высокая печать. Усл. печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 9,86.
Тираж 15000. Заказ 221. Цена 40 коп.
Ростовское книжное издательство. 344706. Ростов-на-Дону, Красноармейская, 23.
Типография им. М. И. Калинина Ростовского управления издательств, полиграфии и
книжной торговли. 344081, Ростов-на-Дону, 1-я Советская, 57.